



Марк Каплун

И я решил рискнуть...

—

Марк Каплун

И я решил рискнуть...

«Издательские решения»

Каплун М.

И я решил рискнуть... / М. Каплун — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-931228-0

Я родился в 1938. Это был год жесточайших репрессий, что не могло не отразиться на жизни всей нашей семьи, хотя, слава Богу, лагерной похлебки удалось избежать. Это рассказ о военных и послевоенных годах. Вроде бы снаряды не рвутся, пули не свистят, а дыхание войны ощущается каждую минуту. У меня это выразилось в тяжелой форме заикания, полученной после контузии. Однако сама судьба свела меня с великим психотерапевтом Казимиром Марковичем Дубровским — чудодеем, которого всю жизнь ждала моя мама.

ISBN 978-5-44-931228-0

© Каплун М.
© Издательские решения

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

22

И я решил рискнуть...

Марк Каплун

Автор приносит благодарность Ирине Румянцевой, Анастасии Вихровой, Татьяне Гриштаковой, Анастасии Степаняц и особенно Ольге Мишиной за работу над рукописью.

© Марк Каплун, 2019

ISBN 978-5-4493-1228-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Недавно мой внук озадачил неожиданным вопросом: «Был ли ты счастлив в детстве?» Я растерялся, не зная, что ответить, потому что «да», «нет» здесь явно не подходит. Что же тогда? В процессе работы над рассказом сузубо для внуков закралась шальная мысль – а что если то, о чем хочу поведать, будет интересно не только им, но и еще кому-нибудь.

И я решил рискнуть...

Это не автобиографический очерк, в котором одна дата жизни строго следует за другой. Это повествование о военном и послевоенном детстве, в котором все события жизни страны были окрашены борьбой родных и близких с моим недугом.

Судьба ставит безжалостный эксперимент, погружая ребенка в ужас страшной войны, и человек, несмотря на свой нежный возраст, выживает. Однако война не отпускает его, играя человеческой судьбой. Как-то прочел в газете рассказ ветерана войны, что сидит в нем осколок с 1943 года, который врачи в военном госпитале почему-то не удалили, и он, осколок, то напоминает о себе тягучей, ноющей болью, то отпускает на какое-то время, позволяя забыть о нем. Но как забыть пронзительный рев немецкого самолета, летящего на бреющем полете. Ужас, испуг, глубокое психологическое потрясение, и в результате – искаленная речь на всю жизнь. Этот подарок немецкого летчика, к сожалению, всегда при мне: его невозможно забыть дома или на работе, его невозможно потерять в трамвайной давке или в метро. Иногда я представляю лицо этого немецкого «супермена» в минуты экстаза жестокости: искаженные черты лица, ледяной блеск глаз. Что думал, что чувствовал он, поливая нас, беззащитных, свинцом своего оружия? Многие не ценят своего счастья, что могут говорить, не задумываясь над самим процессом, просто говоришь, как дышишь. Тебе же нужно больше думать о том, «как сказать», чем то, «что сказать».

Кажждодневное преодоление этого недуга позволило мне пятьдесят лет преподавать в МГУ. им. Ломоносова. Здесь же защитил кандидатскую и докторскую диссертации, быть членом двух диссертационных Советов: в моем родном ИСАА (институт стран Азии и Африки) и на филологическом факультете МГУ. Казалось бы, руки, ноги целы, голова, слава Богу, на месте. Однако мне приходилось встречать тех, кто мог бы стать блестящим преподавателем, но недуг заставлял их менять студенческую аудиторию на тихое место в каком-нибудь НИИ, где больше ценилась их светлая голова и искусные руки.

Большинство тех, о ком хочу написать, уже нет в живых, поэтому не с кем обсудить какие-то факты нашей общей биографии, отношение к тем или иным историческим событиям, а она, история, не скупилась и щедро подбрасывала в костер бытия нашей Семьи все новые и новые испытания. Но семейный очаг, насколько я могу надеяться на свою память, никогда не затухал благодаря каждодневному труду Бабушки и Мамы. В этом, как они счи-

тали, была их миссия на земле, и они с достоинством и смирением несли всё то, что было уготовлено Богом на их пути. Бабушка нашла свое успокоение на кладбище города Баку в 1961 году. Мама лежит на городском кладбище города Хайфы (Израиль). Она ушла в другой мир в 1999 году с надеждой, что всегда будет ощущать тяжесть поминальных камушков на своей груди.

Итак, если вы еще не потеряли интерес к этой теме, если книжка в ваших руках, последуем за её героями по дорогам тех жестоких лет.

* * *

Эта история началась давно, еще с первых месяцев Великой Отечественной войны, когда наша семья, как и тысячи других, стронулась с насиженного места, и, влекомая общим несчастьем, общим страхом, наша утлая семейная лодка поплыла по горящему морю войны. В этой лодке, к сожалению, были не все, кто бы мог быть. Мой дед по отцовской линии категорически отказался уезжать, мотивируя свой отказ тем, что уже имеет опыт общения с немцами во время первой мировой войны. «Это цивилизованные люди. С ними можно иметь дело», – уговаривал он то ли себя, то ли своих собеседников. Как глубоко трагически ошибался мой дед, похожий внешне на чеховского Иванова в исполнении Смоктуновского. Его вместе с бабушкой и жителями маленького городка на Западной Украине живыми закопали зимой 1942 года. После войны я с Мамой побывал в этом городке. Разыскали людей, которые остались живы и были свидетелями последних трагических минут моих родных. В Семье жила легенда, что мой папа – крепкий, здоровый мужчина в возрасте Христа, узнав о гибели отца с матерью, через несколько часов стал седым.

Наше путешествие из Киева в Москву в первых числах июля 1941 года в набитом людьми товарном вагоне, в котором обычно перевозили скот, продолжалось более месяца. Режим жизни – от бомбежки до бомбежки. В минуты затишья обезумевшие люди искали пропавших родных, кто-то пытался накормить ревуших от страха голодных детей. Бомбили наш эшелон с немецкой педантичностью и немецкой аккуратностью по восемь, десять раз в день в одно и то же время. Сначала сбрасывали бомбы на сиротливо стоящий в поле эшелон, потом расстреливали людей, которые пытались скрыться в лесу или в развалинах вокзальных зданий. Немецкие летчики, имея неоспоримое превосходство в воздухе, могли себе позволить «поиграть» в догонялки даже с одним человеком.

Мне на время описываемых событий не было еще и трех лет, но говорил я вполне сносно. А тут... замолчал. Молчали и другие дети, боясь привлечь своим ревом немецкие самолеты. Но потом, когда заканчивалась бомбежка, говорили, плакали. Я не плакал, не просил пить, а только тяжело вздыхал, уткнувшись в теплое мамино плечо.

День ото дня в нашем товарном вагоне становилось все больше и больше народа. Это были те несчастные, вагоны которых разбомбили немецкие летчики. Казалось бы, даже ногу некуда поставить, но Бабушка каким-то образом исхитрилась втиснуть молодую женщину с ребенком на руках. И она с этого момента могла рассчитывать на помощь нашей Семьи. Её покормили, нашли среди немудреного скарба платянице вместо полусторевшего, что было на ней. В такие минуты человеку надо понять, что он не один, что свое горе можно разделить с другими, что тебе не дадут пропасть.

Моя Мама, по природе своей человек очень настойчивый, энергичный, не могла примириться с моим молчанием. Во время налета она видела, как пожилой седой мужчина перевязывал раненого. «Значит врач», – решила Мама, а коли так, надо ему показать меня. Пробиваясь через чьи-то головы, руки, ноги, принимая, как должное, чьи-то проклятья, Мама разыскала седого врача и изложила свою просьбу. Старый, измученный человек, чертыхаясь и кряхтя, пробирался вслед за Мамой в другую часть вагона. Сейчас, по прошествию многих лет, я могу

понять этого человека: кругом оторванные руки, ноги, вывороченные внутренности, а тут – замолчал. Врач посмотрел на меня, помял руками живот, постучал молотком по коленкам и вынес вердикт: «Само пройдет». Он с достоинством принял от Бабушки свой гонорар – горбушку черного хлеба и шматок сала и через минуту уже делал другому перевязку.

Доктор оказался настоящим провидцем: через несколько дней я действительно заговорил. Этому предшествовали трагические события, которые выпали на долю нашей Семьи. Это был очередной день путешествия из Киева в Москву. Мы остановились в небольшом городке Фастове, который однако, считался крупным железнодорожным узлом. Станция была забита товарными и пассажирскими поездами: на Запад везли технику и сформированные в тылу полки и дивизии, а на Восток – тысячи беженцев.

Рано утром Мама пошла в военный комиссариат, чтобы отметить проездные документы, а Брат, которому только исполнилось одиннадцать лет, решил найти на станции кипятик для чая. За ним увязался и я. Пока Брат искал последнего в очереди за кипятком, я спокойно ушел куда-то по своим делам, рассматривая по пути диковинные для меня танки, машины, стоящие на открытых платформах. Вскоре я обнаружил, что один, что стою на безлюдной улице и что самое главное – нет Брата, а тут еще завывла сирена, предупреждая всех, что сейчас начнется бомбежка. Искали меня целый день. Потерялся я утром, а нашли меня, когда солнце заходило за горизонт. Сколько бомбежек было в этот день – со счета сбились. Кругом все горело, взрывалось, люди, как безумные, метались в этом аду, пытаясь найти безопасное место, чтобы укрыться от пуль, осколков, снарядов. Все обитатели нашего вагона включились в поиск маленького мальчика в красных штанишках. Мама на коленях умоляла начальника поезда задержать отправление, а тот в ответ ей кричал, что у него график, что его по законам военного времени расстреляют за задержку эшелона. И все же уступил. Задержал на два часа. Именно в эти два часа и нашли пропажу. Как потом рассказывал Брат, он бежал по безлюдной узкой улице, заглядывая во дворы, где я мог бы прятаться во время налетов. Когда он открывал калитку у небольшого домика, его буквально подбросил истошный вопль: «Гри – ша». Он обернулся на крик и увидел двух женщин, одна из которых несла на руках маленького мальчика в красных штанишках.

Потом Брат часто с гордостью говорил: «Я тебя потерял, но я тебя и нашел», – делая на последнем слове выразительную паузу. Во всеобщей суматохе радости, счастья никто и не заметил, что сам виновник этого переполоха пытался что-то сказать, дергая за платье то Маму, то Бабушку, которые, обливаясь слезами, зацеловывали Брата, меня, всех, кто был рядом на расстоянии вытянутой руки.

Когда страсти немного поутихли, Брат неожиданно вспомнил, что я вроде бы окликнул его по имени: «Позови меня, ну позови, как там, на улице...» – «Гри-ш-ша», – неуверенно прошептал я одними губами. – «Еще раз, пожалуйста, еще», – молил меня Брат. «Гри-ш-ш-ка», – более уверенно произнес я. Он сгреб меня в охапку и побежал к нашим. «Послушайте выступление знаменитого артиста! Тихо, тихо, полная тишина, – командовал он, – позови меня, только громко, чтобы все услышали». Я стоял на табуретке, понимая всю ответственность момента, что от меня ждут чуда. «Гри-ш-ка – шель-м-м-ец», – попытался произнести любимое бабушкино выражение. И я явил чудо.

«Заговорил, заговорил, – кричали вокруг, – пускай плохо, но все же заговорил». Кто-то вспомнил нашего вагонного доктора. «Видишь, вот это доктор. Сказал, само пройдет, так и получилось», – проговорил сухонький старичок, причмокивая губами, что, очевидно, означало высшую степень восхищения. Его вагон разнесло в щепы еще в первые дни прямым попаданием авиабомбы. Вот он и прибил к нашей компании. Во время этой, в общем радостной суматохи, только Бабушка и Мама заметили, что что-то здесь не то. Заговорить то заговорил, но как-то неестественно растягивая гласные звуки, делая паузу между взрывными «п», «т», «к», словно набирая силы для прыжка через барьер.

Опять был призван вагонный доктор, который нового ничего не сказал, кроме уже знакомого нам вердикта: «Само пройдет». Получив уже традиционный гонорар – хлеб с салом – он отправился в свой угол вагона, где у него был развернут небольшой медпункт.

Мама и Бабушка старались меня разговорить, но на все их вопросы я отвечал коротко, лаконично утвердительно или отрицательно: «да», «нет». Когда же я сам делал попытку связать несколько слов, хотя бы слово, состоящее из двух слогов, у меня ничего не получалось и, видя слезы в их глазах, я замолкал. Мне казалось, что во мне поселился некий бесенок, который, одним ему известным способом, свил уютное гнездышко в моем речевом аппарате. Он разбивал речевой поток не там, где это было создано Богом и веками отработано системой языка.

С тех пор вся моя жизнь превратилась в схватку с этим бесенком. Чаще побеждал он. Это происходило в самый неподходящий для меня период жизни. Он налетал на меня сзади и ловким приемом самбиста укладывал на лопатки. Его черные, покрытые кустиками ржавых волос, лапы тянулись к моей шее, а клычкая мордочка норовила впиться в мое горло. Наступал момент, когда моя оборона и его наступление балансировали на грани вдоха, дуновения ветерка, чьего-то желания вовремя протянуть руку. Жизнь вновь катилась по привычной колее. Тогда я чувствовал, как постепенно слабеет хватка его лап, как с легким шелестом он втягивается в свою норку и с ненавистью шипит: «Ну, подожди, жизнь еще не кончена, я скоро напомню о себе». И напоминал. Гораздо чаще, чем это хотелось.

Сейчас, когда нет прежних сил молодости, когда всё чаще врачи говорят о каких-то недугах, о которых раньше и не слыхивал, мой личный бесенок в своих действиях становился все наглее и наглее. Пришлось задуматься, что делать дальше. Особенно остро стал вопрос для меня после последнего метод Совета. Говорить было так трудно, что это мне не удалось скрыть. В аудитории стало неестественно тихо. Кто-то из коллег, желая искренне помочь мне, продолжил изложение проблемы, которая требовала скорого решения. Все заулыбались и как-то быстрее обычного перешли к другому вопросу.

И я решил уйти. Хотя год или даже два мог еще протянуть. В такой ситуации решение принимается самостоятельно, потому что никто лучше самого уходящего не осознает проблему во всей её трагичности, когда пожилого, чаще не совсем здорового человека, судьба заставляет, зажмурив глаза, прыгать в пучину неизвестной ему жизни, когда, зайдя в продуктовый магазин, пять раз хорошо приходится подумать, прежде чем положить товар в сумку, когда замечаешь, что в очереди к участковому терапевту проводишь гораздо больше времени, чем за письменным столом.

Однако мы забежали далеко вперед, оставив нашего рассказчика, стоящего на табуретке в товарном вагоне в июле 1941 года. Потом он часто будет стоять на табуретке в первом ряду в составе Ансамбля песни и пляски танкового училища, в котором служили родители. Хорошо помнится тихая небольшая деревенька Борисково на берегу озера Кабан.

В Ансамбль меня привела Мама. И не потому, чтобы я непременно стал солистом, а чтобы хоровое пение помогло в её борьбе с моим недугом. Какой-то врач ей сказал, чтобы преодолеть заикание, надо говорить нараспев, пропевая слог за слогом. Так, заставляя меня пропевать слова, она обнаружила, что у меня есть голос – звонкий, серебристый альт. Она заставила меня выучить несколько песен, которые передавали по радио и отправилась к руководителю Ансамбля капитану Симагину. Тот пришел от услышанного в полный восторг.

«Вот это голос, вот это сила, и где у него умещается такая голосина!» – восклицал он. «Ты у нас будешь солистом», – подытожил он уверенным голосом. И на ближайшем концерте я уже лихо запевал «*Эх, Маруся, душа моя Маруся*»¹ и очень актуальную тогда песню:

Кто сказал, что надо бросить

¹ Как за Камой за рекой – Музыка: В. Соловьев-Седой, Слова: В. Гусев, 1943

*Песни на войне?
После боя сердце просит
Музыки вдвойне.*

*Пой, наш певучий братишка.
Наш неразлучный баян!
Нынче – у нас передышка,
Завтра – вернемся к боям.²*

Не сомневаюсь, что капитан Симагин был в курсе маминого эксперимента, тщательно подбирая мне репертуар из распевных русских народных песен «*Ах ты, степь широкая, степь раздольная!*», фронтовые будни солдата «*Первой роте сегодня ты ночью приснилась, а четвертая рота заснуть не могла*».

Близкие старались больше разговаривать со мной, все чаще отмечая положительную динамику моей речи. К сожалению, они не догадывались, что в душе моей уже угнездились два начала, которые диктовали мне совершенно разные модели поведения: одно заставляло меня мучительно краснеть, десятки раз проговаривать варианты того, что я хотел бы сказать. И не говорил, и не спрашивал, а давясь слезами, отходил в сторону, решая, что все же лучше промолчать. Так, с одной стороны, формировалась личность слабая, инфантильная, склонная к бесконечным компромиссам с другими и с самим собой. С другой стороны, стоило мне выйти на сцену, независимо от того, какая сцена – то ли праздничный концерт в Киевском оперном театре, то ли выступление на колхозном полевом стане, – я ощущал себя королем, потому что публика обожала меня. Никакой стеснительности, никакой робости – только вперед, не замечая или сметая любые преграды.

Вот бы им обоим сесть за стол друг против друга и договориться о чем-то. Нет, не сели, не договорились, и каждый мчался по своей привычной колее.

Однако мое участие в Ансамбле было не единственным направлением в борьбе с заиканием. Мама узнала, что в Казани практикует известный ленинградский невролог проф. Русецкий, ставший невольным гонителем и жандармом моих детских пристрастий. Его рекомендации состояли всего из одного пункта – беречь нервную систему. А это значило: гулять не более часа в день за руку с Мамой или Бабушкой, и чтобы это не стоило мне никаких физических и нервных усилий. Как она узнала про этого врача – до сих пор для меня тайна. 1943 год, самый разгар войны, источников информации никаких, кроме радио-тарелки. Мне было трудно представить, как можно не играть в футбол со сверстниками во дворе, не играть в догонялки, вышибалы, а тут тебе предлагают с Мамой за ручку гулять.

Самое же главное – он настаивал, чтобы я ушел из Ансамбля, так как сцена истощает нервную систему. Вот в этом пункте у меня появились союзники: Бабушка и в какой-то степени Мама. Она согласилась с доводами Бабушки, что выступление в Ансамбле помогает мне преодолеть робость, что в эти минуты я забываю про свой недуг, чувствую себя равным со всеми, при этом она всегда вспоминала вагонного доктора и его диагноз «само пройдет». И если насчет Ансамбля с Мамой удалось найти какой-то компромисс, то с гуляньем она стояла, как скала, отстаивая рекомендации проф. Русецкого. Я не понимал, как может мне навредить футбол, ведь игра со сверстниками дарит мне столько незабываемых счастливых минут.

Я хорошо помню все события последнего дня, когда мы провожали отца на фронт. Он нес меня на руках, а рядом шла Мама, вцепившись в рукав его шинели, словно предчувствуя, что это в последний раз, что больше мы никогда не будем вместе. Мама тихо плакала. Глядя на нее, разревелся и я. Отец нас успокаивал, говорил, что скоро вернется, что к тому времени,

² После боя (Только на фронте) – Музыка: А. Лепин, Слова: Василий Лебедев-Кумач, 1943

когда они приедут на фронт, война уже закончится и что мы непременно победим. И еще он сказал, чтобы мы встречали его. Он подбадривал нас, старался шутить, но я видел, что он чаще обычного моргал глазами, смахивая тыльной стороной ладони слезы. Больше я отца не видел. Он недолго провоевал – всего один месяц и погиб во время налета вражеской авиации. Я часто думал, что он испытывал во время этого налета, о чем и о ком он думал. Может быть мамини тихие слезы и мой рев промелькнули в его угасающем сознании и в смертную минуту ему не было так одиноко и страшно.

Так и остались мы одни: я с Братом и три женщины разного возраста – Бабушка, Мама и младшая дочь Бабушки – старшина мед. службы, веселая хохотушка тетя Фаня, которая, рассказывая о себе, с лукавой улыбкой всегда говорила: «Я у нашей мамы первая, – при этих словах замолкала и потом неожиданно добавляла, – со второго десятка». Своим неунывающим характером она всегда бодрила каждого из нас, повторяя, что пока мы молоды, надо жить весело. Она была более свободной, чем Мама, поэтому много уделяла мне внимания, составляя для меня специальные упражнения, нечто похожее, как я потом узнал, на практическую логопедию. Она меня научила быстро подбирать удобные слова благодаря распевной манере речи. Она понимала, что то, чем она со мной занимается, это, как палочка для пожилого человека, – ходить помогает, но не лечит.

Профессор Русецкий, к которому Мама меня регулярно возила в Казань, отмечал некоторое улучшение и очень надеялся, что глубокое психологическое потрясение должно вывести меня из этого состояния. Такое психологическое потрясение мы вскоре испытали.

Однажды, когда мы уже спали, в дверь постучали – настойчиво, грубо, как могли стучать только бандиты. На вопрос Бабушки, кто стучит и что нужно в такой поздний час, раздались брань и угрозы. Мы занимали второй этаж частного дома. На первом этаже жили хозяева. К ним не ломились, зная, наверное, что в доме есть мужчины. Знали они также, что на втором этаже, кроме женщин и детей никого, поэтому не ожидали никакого сопротивления. Они без особого труда выломали дверь с улицы в сени, а вот массивная, дубовая дверь, закрывавшаяся на задвижку, оказалась им не под силу. Тетя Фаня прижимала меня к груди, успокаивая и заверяя, что все закончится хорошо. Так под стук топора мы не расслышали одиночный выстрел. На той стороне вдруг стало тихо. Топор перестал калечить нашу спасительную дверь, голоса затихли. Затем раздались шаги на лестнице, наступила тишина. Только потом мы увидели в руках Мама пистолет и поняли, что произошло. Она впервые воспользовалась личным оружием, полагавшимся офицерам Красной Армии. Пулевая дорожка в двери еще долго напоминала нам о произошедшем.

Утром Бабушка повела меня в детский сад. Когда мы спускались по лестнице во двор, там хозяин дома, крепкий мужик лет пятидесяти, колот дрова. Ни слова не говоря, Бабушка подошла к нему и вlepила такие две оплеухи, что в следующую секунду он оказался на коленях, а из носа текла струйка крови. «Это тебе аванс, подлец, расплата будет потом». Я не представлял, какая будет расплата, но аванс мне явно понравился. Даже хозяйский сынок – рыжий Толян – всегда дразнивший и обзывавший меня заикой, стал обходить меня стороной.

Вскоре у нас в доме появился мужчина – капитан Исаак Миронович Гурфинкель, который, имея серьезные намерения, настойчиво ухаживал за нашей тетей Фаней. Сначала я его жутко ревновал к Фане, уговаривая её не выходить за него замуж, а подождать меня, обещая расти быстро-быстро. Но потом мы с ним подружились, так как не подружиться с ним было просто нельзя – у него были золотые руки, светлая голова и доброе сердце. Он вполне серьезно относился к моим детским заботам, когда я, например, просил его решить сложную задачу – нарисовать букву один. И он рисовал букву один, просиживал ночами над чертежами для Брата, старался раздобыть продукты, которых не было, но народ просил есть, – словом, стал надежной опорой нашей Семьи. Вот только Бабушке не мог угодить, так как он оказался сыном местечкового сапожника. Она с гордостью говорила, что её отец был главным при-

казчиком у известного в России сахарозаводчика Бродского, а тут местечковый сапожник... Но в душе она уважала его и даже гордилась им. Когда ему удавалось сделать что-то необычное, из ряда вон выходящее, она обнимала его и со значением растягивая слова, говорила на идиш «*Шистерс зун*»³ и поднимала вверх большой палец. Все присутствующие покатывались от хохота, а Исаак Миронович пуще всех.

Коль речь зашла о психологическом потрясении, о котором говорил проф. Русецкий, не могу не сказать еще об одном случае, который врезался в мое детское сознание и оказал на меня глубокое психологическое воздействие.

Зима 1944 года выдалась суровой, снежной, и уже к началу декабря озеро Кабан все было испещрено ниточками тропинок, протоптанными теми, кто не желал идти в обход, а шли так, как это было удобно и быстрее. Вот и мы каждое утро топали через озеро Кабан, кто на службу в танковое училище, Брат в школу, а я в детский сад. Однажды морозным, солнечным днем я и Брат катались на санках с довольно крутого берега озера Кабан. Мы мчались вниз с такой скоростью, что останавливались далеко от берега. Потом с санками карабкались вверх по склону, чтобы в очередной раз с замиранием сердца мчаться вниз. Когда мы остановились далеко от берега, чтобы передохнуть немного, послышался хорошо знакомый мне рев самолета. Мне подумалось, что это какой-то сбитый немецкий самолет прорвался к нам, к городу Казани, чтобы завершить то, что ему не удалось сделать в июле 1941 года. Я упал на лед и закрыл голову руками. Казалось, еще мгновение... и самолет раздавит, расплющит нас. «Не реви», – словно сквозь густой туман послышались мне слова Брата. Он поднял меня и с силой вдавил в санки. «Не бойся, это далеко, лед крепкий», – долетали отдельные слова и фразы до моего сознания. Он схватил веревку от санок и побежал к берегу. Внезапно раздался оглушительный взрыв и вверх поднялся громадный столб огня и дыма. Это самолет врезался в лед. Мне показалось, что лед под нами закачался. Я заревел пуще прежнего. Брат обнял меня и спокойно сказал: «Не бойся, я тебя не брошу».

Нас обогнала молодая женщина, но, увидев, что Брат тяжело дышит и уже выбивается из сил, вернулась, схватила веревку и побежала к берегу. Когда мы были уже недалеко от берега, увидели Бабушку, бегущую нам навстречу. Она бежала неровно, как-то зигзагами и что-то кричала, но к нам долетали только бессмысленные звуки. От ужаса глаза же её готовы были выскочить из орбит. «Там образовалась громадная полынья, – женщина куда-то показала рукой, – она стремительно разрастается, надо спешить». Когда мы были уже на берегу, то увидели громадное белое пространство, а внутри – черная вода. А ведь мы только что были там, в самом центре полыньи. Народ на берегу говорил, что у меня и Брата в тот январский день 1944 года был второй день рождения.

Бабушка очень переживала, что в общей суматохе на берегу потеряла из вида ту молодую женщину, которая в критический момент помогла нам, рискуя своей жизнью, не побежала вперед, а вернулась и вместе с Братом тащила санки, на которых сидел я. Казалось бы, деревушка Борисково – не Москва, где редко случайно можно встретить знакомого человека, здесь, в Борисково, все друг друга знают в лицо. Но ведь не встретил, хотя мы, мальчишки, большую часть дня проводили в играх на улице и вероятность такой встречи была значительно выше, чем в любом другом случае. Я никогда не забуду её простое русское лицо, озаренное теплой улыбкой, когда она нагнулась ко мне и провела рукой по моей щеке. В следующее мгновение она уже весело крикнула Брату: «Что, лошадка, притомилась? Давай вместе, легче будет, побежали». И если я её не встретил, значит это был Ангел, посланный рукой Творца, чтобы спасти нас. По настоянию Бабушки решено было Маме ничего не рассказывать о происшествии с разбившимся самолетом.

³ сын сапожника

Методика профессора Русецкого в переводе на доступный язык означала, что клин вышибается клином, т.е. что одно психологическое потрясение нейтрализует другое. В моем случае эта методика, как показало время, оказалась несостоятельной. К сожалению, это я сейчас такой умный, что пришел к данному логическому заключению, а тогда Мама пыталась неукоснительно следовать рекомендациям проф. Русецкого. Но это только усугубляло ситуацию. Тяжелый кожаный мамин ремень частенько гулял по моей спине. После каждой такой порки я еще больше замыкался в себе, еще отчаяннее бегал, прыгал, играл в футбол, выплескивая наружу те эмоции, которые мне надо было держать в себе.

Хорошо, что у меня были надежные защитники – Бабушка и Брат, которые, пытаясь сдержать мамин ремень, часть ударов брали на себя, поэтому доставалось и им. Но Бабушка не обижалась на нее, а, наоборот, жалела, часто приговаривая, что у Розочки такая тяжелая и главное ответственная служба. «Отдел кадров», – с придыханием произносила она, сопровождая свои слова указательным пальцем, который она поднимала вверх, делая при этом многозначительную гримасу. Так я до сих пор не пойму, что означала эта сцена – то ли в ней была густо замешана скрытая ирония, то ли знак уважения к казенному месту, где в одном из кабинетов большую часть своей молодой жизни проводила моя Мама.

То, что в её кабинете шутки не шутили, говорит эпизод с пропажей какого-то документа, «так, ничего особенного – четвертушка бумаги», но из-за этой бумажки Мама неделю ходила буквально черная. В доме была такая тишина, что казалось где-то лежит покойник, все говорили шепотом. А злосчастная бумаженция все-таки нашлась. Все оказалось очень просто: кто-то пил чай и по неосторожности капелька попала на документ и приклеилась к другому документу, который оказался вдруг востребованным, и все прояснилось. В этот счастливый день я первый раз за неделю увидел улыбку на лице Мама, а Бабушка в честь такого события испекла к чаю «бабку» – чуть подслащенная вермишель темного цвета. Трудно представить себе, к каким трагическим последствиям могла привести нас эта капелька чая, если тогда за пару мерзлых картофелин, за пшеничный колосок давали по десять – двенадцать лет, а тут – секретный документ!

Все события, происходившие с нами, я хорошо помню с пяти лет, т.е. с 1943 года – тяжелого, трагического, когда похоронки одна за другой стали залетать к нам в дом, терзая и так истерзанные сердца моих дорогих женщин. Сначала пришла похоронка со сталинградского фронта на младшего сына Бабушки, потом с Курской дуги – на среднего, а в конце 1943 года пришло извещение о гибели отца при форсировании Днепра.

Осознать эти события я был не в силах – осознание пришло потом. Я запомнил в деталях все происшедшее вокруг меня, когда порог нашего дома переступили две женщины со скорбными лицами, Мама сразу поняла, что это по её душу. Она закрыла лицо руками и заплакала, и сквозь плач я явственно слышал её слова: «Леля, что ты наделал?» Эти слова так и остались загадкой для меня. Она в чем-то обвиняла отца. В чем? Не на пирушку же он поехал. Бабушка обняла Маму, и они застыли в этой скорбной позе. Из оцепенения всех нас вывело сухое покашливание одной из пришедших женщин: «Извините, у меня еще целая пачка таких писем, распишитесь, пожалуйста». Мама взяла карандаш, и рука её застыла в пространстве, словно она должна была сделать шаг куда-то, откуда возврата уже нет. Её последнее движение руки – и она вдова, ставится последний штрих в их совместном земном существовании. Дальше – незамужняя женщина. Я же в это самое время беззаботно носился по комнате, гремя самодельным самокатом, придавая всей этой картине некий сюрреалистический смысл. Я тупо смотрел на Бабушку, которая пыталась донести до моего сознания, что теперь я сирота, что отца убили фашисты и что мы его больше никогда не увидим. Трудно сказать, что я хотел показать своим поведением: то ли такие события были за гранью моего понимания, то ли проявление моего ослиного упрямства, когда никакая сила не могла заставить делать то, что не хотелось.

Так я мог утром спрятать офицерский ремень дяди Исаака, торопившегося на службу. Но какой он, скажите на милость, преподаватель математики без него. Вот и носились все по квартире, заглядывая во все углы, умоляя меня выдать злосчастную портупею. Но я стоял, как скала. Чтобы показать свою непричастность к её пропаже, я включался во всеобщие поиски. Наконец, эта игра мне надоедала, и через какой-то промежуток времени я издавал победный клич, показывая в высоко поднятых руках искомую портупею.

Но это, как говорят, цветочки. Вершиной демонстрации упрямства стал эпизод моего гостеприимства, когда я на правах хозяина давал прием, гвоздем которого стал небольшой кулечек сахара, полученный накануне в составе пайка, выданного всем нам на целый месяц. Воспользовавшись тем, что все во главе с Бабушкой ушли окучивать картошку на огород, который был нашим спасением, потому что в противном случае был бы настоящий голод, а так выручала картошка. Эх, картошка, картошечка! Какая же ты доступная и в то же время желанная. Каких только блюд из картошки не придумывала Бабушка, чтобы мы меньше ощущали скудость и бедность нашего рациона. Но самым вкусным блюдом для меня была сама картошка в мундирах, когда Бабушка подавала на стол чугунок, из жерла которого вился легкий, ароматный парок. А на столе дожидалась селедочка, пересыпанная лучком и политая подсолнечным маслом. Не последнее место в этом гастрономическом натюрморте занимала квашеная «капусточка» – гордость Бабушки, потому что всю зиму ели щи из квашеной капусты. Вот это был не просто прием пищи, а настоящий праздник.

Участниками заявленного раута стали мальчишки с улицы, с которыми я играл в футбол. Самое обидное заключалось в том, что мы не столько съели этот сахар, а сколько рассыпали по всей комнате. Мальчишки, опасаясь взбучки, разбежались по домам, а я остался один на один со всем этим безобразием, который мы натворили. Сколько я не подметал веником сахар, он предательски скрипел под ногами. Осознавая всю меру содеянного, я ожидал адекватной взбучки от взрослых, поэтому решил не строить иллюзий и идти до конца – назад дороги не было. Я запер все двери, забрался в свой любимый угол за шкафом и замер. Сколько я так просидел – не знаю, когда вдруг раздался стук в дверь. Я ждал этого стука, но когда услышал – растерялся. Я еще глубже вжался в свой угол. «Ты что, спишь?» – услышал я голос Бабушки.

Спишь! Вот мое спасение! Я продолжал молчать. Видать, им надоело стучать и наступила тягостная пауза. Внезапно я услышал, как что-то тяжелое упало на пол. Оказалось, Брат был послан к соседям за лестницей и через открытое окно он влез в комнату и открыл дверь. И тут я понял, что в разведку меня точно не возьмут. Как я мог так оплошать, оставив открытым окно? Бабушка взяла меня на руки и положила на тахту, приговаривая: «Спи внучек, спи милый, набегался за день, бедняжка». Сменив ласковую интонацию на императивную, она в приказном тоне сказала Брату, чтобы на пять – десять минут задержал всех во дворе, а сама схватила веник. И действительно, через пять минут следы нашего сахарного пиршества были убраны, и никто ничего не заметил. Вы спросите, а как же сахар? Ведь иногда кто-то, в том числе и я, пил сладкий чай с сахаром. Откуда он появился на столе? Не знаю, как она сумела ликвидировать недостачу.

Когда я был уже взрослым, как-то вспомнился этот случай, и я спросил у Бабушки, зачем она меня тогда «прикрыла». Она горько усмехнулась и ответила не задумываясь, словно постоянно думала только об этом: «Кому бы это помогло? Ну выпороли бы тебя лишний раз. Ты что, лучше говорить бы стал? Нет. Напротив, ты хотел угостить друзей самым вкусным, что у тебя было. Ты же сам не ел сахар под подушкой? Ну, а то, что рассыпали немного – с кем не бывает».

Надо сказать, что Евгения Яковлевна была образованным человеком – говорила на четырех языках: русском, украинском, польском и на идиш, т.е. на тех языках, на которых говорили народы, населяющие Юг и Запад Украины. Но она не только понимала и разговаривала, она обладала удивительной способностью синтезировать эти знания в пословицы, поговорки, прибаутки на основе этих языков. Надо было ходить за ней с блокнотом и карандашом и записы-

вать её афоризмы. Теперь, вспоминая это, чувствую, что силен «умом на лестнице», так что вся надежда на память. Вот один последний пример. Наш дядя Исаак очень любил почаевничать по утрам, рискуя опоздать на службу. Бабушка могла раз пять ему напомнить об этом. «Возьми чай с собой, по дороге выпьешь», – иронично замечала она. Когда, наконец, её терпение лопнуло, она взяла суповую миску, зайдя к зятю со спины, одела ему эту миску на голову вместо короны, сопровождая это действие шуточной еврейской песней:

*Отазэй, отазэй,
Дринкт а кэсах тэй
А полк салдотын
Мьит армотым,
Штейн ин шраен
«Шат, шат, шат»
От азэй
От азэй
Дринкт а кэйсах тэй*

*Вот так, вот так
Пьет царь чай
Полк солдат
С пушками
Стоят и кричат:
«Тихо, тихо, тихо».
Вот так,
Вот так,
Пьет царь чай*

Все покатывались со смеху, а дядя Исаак с блаженной улыбкой на лице допивал свой чай, не замечая «царской короны» на голове.

Однако шутки в сторону. Шел 1945 год, близился день долгожданной победы. Вся жизнь последних месяцев войны была пронизана воздухом победы. Люди стали чаще смеяться, строили планы на будущее, заглядывая за слегка приоткрытый занавес, за которым угадывались контуры мирной жизни. Какая она будет? Эти споры не затихали и в нашем доме. Что касается Исаака, то все понятно: он человек военный, куда пошлют – туда и поедет. Мама же хотела демобилизоваться и поехать на родину, на Украину, хотя вести шли оттуда мрачные, невеселые: весь город разбит, кругом одни развалины, работы нет, чудовищный бандитизм, – словом, «хлебом солью» нас встречать точно не будут.

Бабушка, как человек мудрый, была решительно против, произнося, как заклинание, что мы должны держаться вместе, что если мы выжили в лихое военное время, то только потому, что были как единое целое – семья, что наша дорога в мирную жизнь не будет устлана коврами и усыпана розами. В то же время Бабушка понимала, что у Мама характер властный, решительный, что она уже в том возрасте, когда способна принимать решение, и не только за себя. В конце концов, Бабушка дала свое согласие на наш отъезд. Дала-то она дала свое согласие, но все равно в доме стояла напряженная тишина, которую, казалось, можно было резать кусками ножом.

Обычно за ужином всегда было интересно, весело, шутки и подковырки так и летали от одного участника застолья к другому. И чем меньше еды было в тарелках, тем больше было шуток за столом. Чаще всего объектом шуток был я. Мне это льстило. Когда пел – понятно, что должен быть в центре внимания. Тут вроде не сцена, а все равно смотрят на тебя, улыбаются

тебе, ласково глядят твои непослушные вихры. Теперь же за столом было тихо, говорили мало, только по делу, спеша скорее уйти из-за стола.

Наконец, наступил долгожданный день Победы. Природа словно одарила нас в этот день теплом и лаской за все наши беды и несчастья. Люди доставали из сундуков все лучшее, что когда-то одевали по большим праздникам, приглашали в дом, щедро делились друг с другом скромным харчем, который был на столе, пели под гармошку свои заветные любимые песни. Мальчишки тоже участвовали в общем веселье, оглашая округу радостными воплями.

Когда я вошел в дом, было пусто и одиноко. У раскрытого окна сидела Бабушка и тихо плакала. Я никак не мог понять причину её слез – ведь все веселились, пели, танцевали. Победа, победа! Я подошел к ней, обнял за плечи. Она повернула голову ко мне и посмотрела на меня таким взглядом, что казалось вся мировая скорбь была сосредоточена в этом взгляде, и я тоже не смог сдержать слез! Так мы с ней и просидели до самого вечера пока не пришли наши – веселые, счастливые, опьяненные великим праздником. Тогда почему плакала Бабушка? Неужели она не рада Победе? Нет, эту мысль я отметал сразу с порога. Тогда что? Четыре сына её положили свои юные жизни на алтарь Победы. Как, наверное, трудно разделить два понятия: выстраданная Победа и отданные жизни ради этой Победы. Видать, у Бабушки это получалось плохо.

С тех пор она сильно изменилась: исчез её властный, повелительный тон, она старалась больше быть в тени, чтобы предоставить нам самим решать свои проблемы. Мы же со своей стороны старались не огорчать её. Даже распался извечный дуэт антагонистов – Бабушки и Мама – у них редко совпадали взгляды, особенно по кардинальным проблемам бытия, и это всегда выливалось в ожесточенные споры, в которых по сути я не понимал ничего, но чувствовал, что спорщики с уважением относятся друг к другу, соблюдая какие-то правила честной дуэли, что это была не обычная бытовая ругань по поводу невымытой чашки, а поиск истины – иначе зачем спорить.

В эти весенние месяцы 1945 года произошло еще одно для меня безрадостное событие – распался наш Ансамбль, что, наверное, было естественным ходом событий, многие демобилизовались и разъехались по родным местам, многих перевели в другие места службы. Но самым большим ударом для меня был отъезд семьи капитана Симагина. Я потерял прекрасного музыкального наставника, Мама – лучшую подругу, красавицу Тиссу. Когда они шли вдвоем по улице, то всё внимание прохожих было отдано им. В присутственных местах при их появлении мужчины вставали независимо от военной субординации.

Я знал, что на семейном совете было решено: в марте 1945 года мы – Мама и я – уезжаем на Украину в родные места, хотя ни работы, ни крыши над головой не было. Словом, мы ехали в никуда, в полную неизвестность. Непонятно было, что делать со мной – то ли продолжать учение в первом классе, то ли отдать в детский сад, так как я в связи с переездом очень много пропустил. Мама решила, что не надо меня мучить в школе и определила в детский сад. Там она поговорила с персоналом, особенно с воспитательницей, об особенностях моего общения с окружающим миром, чтобы меня не теребили без надобности.

Никто из сверстников не дразнил меня заикой. О том, что я пою, Мама то ли забыла сказать в детском саду, то ли намеренно промолчала. Я же тем более не высовывался. Но разоблачение последовало очень скоро. Как-то во время игры мы вместе должны были спеть какую-то известную песню. И здесь сработал рефлекс – все запели, и я запел. Первыми почувствовали что-то не то сами дети. Сначала они повернули головы в мою сторону, потом по одному, неуверенно прекратили петь. Воспитательница, женщина среднего возраста с добрым измученным лицом, растерянно смотрела то на меня, то по сторонам. Наконец, она пришла в себя, схватила меня в охапку и поволокла в кабинет директора со словами: «Вот! Послушайте!» И с заговорщицкой улыбкой на лице выдохнула: «Давай!» Она с победным выражением лица уставилась на директора, которая ничего не понимала, но инстинкт детского работника с боль-

шим стажем подсказывал ей, что ничего дурного не случилось, что произошло что-то необычное, чего они не предполагали. Затянувшуюся паузу разрядила воспитательница: «Давай про Днепр», – выдохнула она. Эта песня Марка Фрадкина «Днипро» была последней, которую разучил со мной мой любимый первый музыкальный наставник дядя Жора Симагин. Он разучил со мной не только текст и музыку, но и рассказал про битву на Днипре, чтобы я понял, что пою: «В этой мясорубке при форсировании Днепра погибло много наших солдат, в том числе и твой отец, поэтому ты должен петь её с особым чувством. Вдумайся в эти слова: *«Кто погиб за Днепр, будет жить века, Коль сражался он как герой»*. В вокальном плане песня написана для твоего голоса – широкого, распевного, звонкого, сильного. Вот ты пой её так, чтобы никто не смог забыть ни его, ни тех, о ком поется в этой песне, ни тебя». Все это я вспомнил, когда смотрел на испуганные лица детсадовских работников. При первых же звуках моего голоса они заулыбались, потом, округлив глаза, с восторгом смотрели на меня, затем кто-то стал украдкой вытирать слезы, а при словах *«кто погиб за Днепр...»*, не стесняясь, плакали навзрыд.

С того памятного дня ко мне стали относиться очень бережно, особенно что касалось моего заикания. На занятии «подготовка к школе» воспитательница разрешала мне не читать вслух или читать простые тексты что-то типа «мама мыла раму». Я же, когда был один, читал тексты нараспев, как учил дядя Жора. Так получалось хорошо, и это укрепляло мою волю и веру, что болезнь можно победить.

Приютила нас дальняя родственница, которая кроме комнатки в десять квадратных метров имела еще не всегда трезвого мужа и двух детей школьного возраста. Как мы размещались в такой тесноте – не знаю. Дети спали на полу, Мама – на небольшой кушетке, впритирку с кроватью, на которой спали хозяева. Все остальные удобства – на дворе. Но мы все это воспринимали как обычное явление, не было чувства стыда за такой скотский быт. Так жили все, и люди приходили на помощь друг другу. Город был весь разбит, а бездомных я не видел.

Вскоре для меня с Мамой произошли два радостных события – Маму восстановили в армии, присвоив ей звание лейтенанта, и взяли на работу в областное управление МВД в отдел кадров. Она должна была выполнять ту же работу, которая ей была хорошо знакома по Казанскому танковому училищу. Второе событие – Маму восстановили в правах на жилплощадь, которую мы занимали до войны. Правда, мы раньше занимали все три комнаты в квартире, а теперь только одну, но это было счастье неопишное: я спал в своей кровати, один, не опасаясь крыс, которые то и дело стучали лапами по дощатому полу и всю ночь грызли что-то. Когда спал на полу, я все время боялся, что крысы откусят мне нос, поэтому всю ночь натягивал одеяло на голову, спасая свой нос от крыс.

Эти памятные дни 1946 года были так насыщены, что в их водовороте Мама как-то ослабила давление на поиски врача-волшебника, исцелившего бы меня от заикания навсегда.

Кормили нас в детском саду отчаянно плохо: не в смысле плохо готовили, кто думал тогда об этом, а в смысле мало было на тарелке. Мы как голодные волчата набрасывались на еду, и уже через минуту тарелки были пусты, и мы крутили головами в поисках еще чего-нибудь. А этого «еще чего-нибудь» не было, и воспитатели спешили нас отвлечь от мыслей об еде играми. Надо признать, что это плохо удавалось им: мысль о кусочке хлеба или ложке сизой перловой каши заставляла наши желудки выдавать такие рулады, что твой симфонический оркестр. Тогда я понял, что голодуха – одна из самых страшных бед человечества, потому что низводила *Homo sapiens* до животного состояния. Как курица, которая все время чего-то ищет, чтобы клонуть, так и мы вечно голодные все время были в поисках пищи.

Была у нас в группе девочка, которая как-то странно ела хлеб – она его не откусывала, а лизала. При каждом прикосновении к хлебу она строила гримасу наслаждения, закатывала глаза, издавала сладостное урчание. Я уверен, что она также, как и мы, готова была не то что съесть, а моментально проглотить этот вожденный кусочек хлеба. Но она смотрела на него

и была счастлива. Мы же считали, что она сыта и намеренно дразнит нас самым видом несъеденного хлеба.

В первый послевоенный год голодно было везде, но то, что творилось на Украине, трудно описать словами. Улицы городов были заполнены людьми измученными, опухшими от голода, на тротуарах сидели не дети, а живые скелеты. Жители деревень спасали своих детей от голодной смерти. Причем, они не ожидали помощи от государства, потому что если бы оно очень хотело помочь людям, то сделало бы это раньше, не доводя своей жестокостью, своим равнодушием к судьбе народа, одержавшего великую Победу. Горожане делились с ними последним. Бродили в поисках пищи и пленные немцы. Ходили практически без всякого конвоя и им тоже кое-что перепало от сердобольных горожан.

Вот любопытный эпизод. Мой товарищ по коммунальной квартире Алик ушел в школу голодным. Его мать попросила меня отнести в школу ему морковку, потому что больше в данный момент у нее ничего не было. Я взял морковку за зеленый хвостик и пошел. Школа была совсем рядом, за углом. Вдруг как раз из-за этого угла вывернула небольшая колонна пленных немцев. В первом ряду шел высокий, худой немец в очках. Когда они почти поровнялись со мной, я заметил, что немец отделился от своей колонны и направился ко мне. Его взгляд приковала моя морковка, и он, как загипнотизированный, смотрел на нее. Внезапно его рука, прочертив в пространстве прямую, потянулась к морковке, а глаза его в упор сверлили меня. Через мгновение немец уже хрустел морковкой, а я остался в дураках и еще оставил друга голодным. Мне еще раз пришлось встретиться с пленными немцами. Но об этом потом.

В детском саду меня практически носили на руках, поэтому ходил туда с удовольствием. Я видел, как провожали нас любопытными взглядами мальчишки с нашего двора, когда Мама вела меня за ручку в садик. Однажды утром Мама вдруг остановилась, подошла вместе со мной к ним и, ласково улыбаясь, сказала: «Вот ваш новый товарищ, мы только приехали из эвакуации и поэтому у него еще нет друзей. А вы понимаете, как плохо без друзей? У него небольшие затруднения речи, так вы не обращайтесь внимание. Он носит везде с собой кусочек бомбы – подарок немецкого летчика, который бомбил наш эшелон». При этих словах Мама глаза ребят округлились, а в рот можно было въехать на грузовике с прицепом: это же тебе не киношные взрывы, а вот реально стоит пацан, который видел немецкие самолеты, видел настоящие танки, и что за подарок немецкого летчика, который эта малолетка всегда носит с собой?

Что надо мне сделать, чтобы стать своим? Если что-то не так – во дворе начнется малая война. Сначала будут каждый день бить, отнимать съестное и т. д. Двор – это не столько место проживания, сколько место воспитания. Во дворе были свои законы, которые никто из дворовых ребят не смел нарушать. Иначе... побьют очень больно и унижительно. Потому надо будет объяснить родителям происхождение фонаря под глазом, разбитый нос и другие прелести дворовой жизни. Дворовое воспитание, как следы от оспы, на всю жизнь оставляет свои метки: никто не станет бить лежащего или бить до первой крови и т. д. Таким было мое первое знакомство с дворовой компанией. Первая свая в фундамент наших добрых отношений с дворовыми мальчишками была вбита. Главное было не испортить все нашими действиями.

Жителей нашего двора объединяло одно – беспросветная нищета. Редко кто из родителей, ложась спать, с радостью думал, что сегодня, слава Богу, накормил свое чадо досыта.

На следующий день, в воскресенье, Мама дала мне черную горбушку хлеба, политую каплей подсолнечного масла и выпустила во двор. Там ко мне моментально пристроился загорелый до черноты пацан со словами: «Чур, я первый за хозяином, – скороговоркой прокричал он, – и вслед за мной откусил от горбушки. Через мгновение в очередь за девятым стал десятый, но ему, к сожалению, не досталось. Но он, судя по поведению, не очень огорчился – ведь укус от горбушки он проиграл в честной борьбе. В то мгновение я еще не понимал, что разделить хлеб можно только с товарищем, что это знаковый поступок, что я принят во дворовую компанию. Кто-то даже полюбопытствовал, на каком месте в футбольной команде я бы хотел

играть. «Конечно нападающим», – ответил я. «Вот и хорошо, я тогда перейду в защиту», – ответил с кислой улыбкой любопытный. Все мальчишки мечтают забивать голы, а тут такое самопожертвование – добровольный переход в защиту. И все ради какого-то семилетнего шкета, потому что в команде были ребята старше меня на три-четыре года и всем безумно хотелось играть в нападении.

Но самое главное представление должно было состояться вечером в дворовом клубе. Так называлось место в укромной части двора, где были свалены в штабеля бревна, на которых разворачивалась почти взрослая жизнь. Здесь назначались свидания, здесь происходили объяснения, здесь выявлялись таланты: чтецы, певцы, танцоры. Кто привез и свалил бревна в этом участке двора – никто не знал. Думаю, что, наверное, кто-то из родителей – и для ребят укромное местечко, и всегда перед глазами старших. «Фима», – раздавался чей-то зычный глас. И озвученный моментально растворялся в ночной темноте. Мама отпустила меня в дворовый клуб не без сомнений, но, напутствуя, шепнула на ухо: «Не волнуйся, я буду сидеть у окна. Если что — кричи – я услышу».

Когда я появился в клубе, народа уже было много: девочки, мальчики, побольше, поменьше. Меня не сразу заметили, первым меня увидел «Любопытный» – черноглазый мальчуган, который, обращаясь ко всем, сказал: «А у нас новенький». Все обернулись в мою сторону и внимательно посмотрели на меня. «Он всегда носит с собой подарок немецкого летчика, покажи, страсть как любопытно». – «Видишь, как я плохо говорю, вот это и есть подарок Фрица, который всегда со мной». Из неловкого положения нас вывел рыжий Жорка, с которым мы потом подружимся и будем не разлей вода: «Что ты умеешь делать?» – «Я ум-м-мею петь». Раздался неловкий смех. «Как ты петь можешь, когда говоришь плохо?» – «А вы послушайте!»

И я как жажнул «*Ой Дніпро, Дніпро, ты широк, могуч*». Казалось, я весь дом разбудил. То там, то здесь включили свет. Поднялся шум: «Кто, где это, как это возможно?» Словом, я не столько удивил, сколько напугал местную ребятню. Высокий парень, который сидел в центре собрания, закрыл мне рот ладонью и тихо сказал: «Тише ты, оглашенный, весь город разбудишь. Ты что-нибудь душевное можешь?» – «Могу, – твердо сказал я, – что хотите?» – «В нашу гавань заходили корабли». Конечно, для такого антуража не хватало гитары, но отсутствие инструмента заменялось задушевым исполнением. Когда я в следующей песне трагически вывел «*в нем родного он брата узнал*», девочки хлюпали носами.

В репертуаре дворового клуба преобладала в основном фронтовая лирика. Сколько трагических историй рассказано в этих песнях. Особенно мне нравилась «Галиночка» – песня о трагической судьбе семьи фронтовика. Когда я спел первую фразу этой песни, публика на бревнах захолопала.

Галиночка, любимая дочь отца:

*Доченька, дорогая
Любимая,
Гляжу не нагляжусь
На тебя, на родимую,
И все тобой горжусь.
Всюду снишься мне милая.
Ведь ты звездой ночной
Светишь надо мной.*

Отец получает весть о гибели его семьи:

*Вдруг пришло отцу
Много горьких вестей*

*Что разрушен дом
Что его Галиночку
Немец-злодей
Заколот штыком*

При этих словах девчонки плакали навзрыд, а мальчики, играя желваками, роняли скудную мужскую слезу. Таким образом, будущий школьник, а ныне пока детсадовец был принят в дворовую компанию на правах почетного члена. Этот вечер показал, что у меня обширный песенный репертуар, причем, разного направления. Кто-то хотел русскую народную? Пожалуйста:

*Вижу горы и долины,
Вижу реки и моря,
Это русские картины
Это Родина моя!⁴*

Кто-то хотел патриотическую? Еще раз пожалуйста:

*Где найдешь страну на свете
Краше Родины моей⁵*

Особой популярностью пользовалась песня про юного футбольного болельщика. Здесь голос не покажешь, да и не нужен он здесь. Замечательные стихи песни, легкий полет голоса, без нажима, делали свое дело – публика просила еще и еще:

*Я всё лето думаю только о футболе,
И когда деревья покроются листвой,
Говорят родители: «Ну, пропал наш Коля
До конца сезона он будет сам не свой».⁶*

Одним словом, не повезло герою этой песни, потому что никто в семье не разделяет его пристрастия к футболу. Но внезапно приезжает дедушка и все становится на свое место:

*Мы на матч приходим, я болельщик старый
И со мною дедушка – болельщик молодой.*

Почему-то всем особенно нравилась последняя фраза про молодого болельщика – дедушку. Тут, как правило, смеялись, особенно сильно хлопали в ладоши и кричали: «Еще! Еще!» Так последний куплет этой песни я пропел три раза. Наконец, рослый парень, имени которого я еще не знал, твердо сказал: «Всё, хватит, неровен час совсем запоете пацана. А тебе, дружок, спасибо. Такой знатный концерт нам устроил. Ты у нас настоящий Лемешев. Отныне тебе почет и уважение. Все слышали?» – в его голосе метала было больше, чем всех остальных составляющих. Все дружно ответили, что слышали, что теперь почет и уважение «нашему Лемешеву».

⁴ Родина – Музыка: А. Полячек, Слова: Ф. Савинов, 1949

⁵ Песня о Родине (Светит солнышко на небе ясное) – Музыка: А. Новиков, Слова: С. Алымов, Исп: Сергей Лемешев, 1947

⁶ Два болельщика – Музыка: Е. И. Жарковский, Слова: О. Фадеева, Исп: Леонид и Эдит Утёсовы

Мама дожидалась меня на крыльце, прислушиваясь к звукам, доносившихся из «клуба». Когда же я вынырнул из ночной темноты, Мама бросилась ко мне, причитая и ощупывая меня – всё ли цело, всё ли на месте. Увидев мои сияющие глаза – всё поняла, и не стала спрашивать меня: «Завтра все расскажешь, а сейчас пей молоко и спать». Когда уже в комнате все стихло, я вдруг вспомнил, как теперь велено меня называть. Спросил у Мама: «Кто такой Лемешев? Боксер, футболист?» Из угла, где спала Мама, послышался тихий смех: «Нет, это великий певец. Хватит, спи, а то завтра опоздаем на службу». А я еще долго не мог уснуть, повторяя звучную фамилию «Лемешев, Лемешев».

На следующий день Мама пришла за мной в садик раньше обычного, неся в руке нелегкий сверток. На все мои расспросы, что в этом свертке, она, загадочно улыбаясь, отвечала: «Потерпи, дома узнаешь». Дома Мама поставила сверток на стол и сказала: «Разворачивай» и стала помогать мне. В конце концов, бумага упала на пол, и моему взору предстал небольшой красный ящик и две пластинки. Открыв ящик, я понял, что это патефон, только с маленькой трубкой, которая крутилась в разные стороны. Мама взяла металлическую блестящую ручку, и сделала несколько вращательных движений. Потом подняла одну из пластинок и повернула маленький рычажок. «Куда, куда вы удалились», – понеслись звуки завораживающего голоса. Я замер в оцепенении, и только предательская слезинка, катившаяся по щеке, выдала то, что я не мог выразить словами.

Так, я и Мама, как две стрекозы, пропели все лето, а близился сентябрь – надо было идти в школу. Но тут вставали проклятые вопросы бытия, связанные с новой школьной жизнью. Мама до ночи на службе, а кто будет забирать меня из школы, кто будет заставлять делать уроки, а то этот шалопаи весь день пробегает с мальчишками, кто, наконец, накормит школяра? Поэтому Мама все лето бомбардировала письмами Бабушку, чтобы та приехала к нам из Лени-накана, где она в это время жила в семье Исаака и Фани, и помогала им воспитывать внучку Таню, которая родилась у них в конце 1945 года.

Наконец, после долгих, изнурительных переговоров мы в конце августа встречали Бабушку на вокзале. Она взяла с собой много узлов, несколько тяжелых чемоданов, набитых крупами, картошкой, мукой. Я не представлял, как Бабушка таскала эти узлы и чемоданы, увидев, как изогнулся водитель маминой машины, попытавшись поставить один из них в машину.

Приезд Бабушки на время скрасил нашу голодную жизнь, а дальше все вернулось на круги своя. Утром Бабушка давала мне холодную перловую кашу сизого цвета. Холодную потому, что не было керосина, чтобы подогреть её; сизую потому, что не было в ней ни жиринки. Так и смотрела на меня Бабушка, давась слезами, как я пытался пропихнуть эту кашу в себя. В школу с собой она давала кусочек черного хлеба на два-три укуса, посыпанный солью или сахаром.

Мама в это время была одержима двумя вопросами: найти чудо-доктора, который излечит меня от заикания, и дать мне музыкальное образование. Чудо доктор так и не появлялся на горизонте, а музыкальная школа – вот она, берут, как говорится, с руками и ногами, но с одним непременным условием – дома должно стоять пианино, на котором надо было три-четыре часа в день заниматься. Но где его взять? Купить новое – все равно, что звезду с неба достать; купить подержанное – тоже не под силу.

И вот наступило время, когда поздно за ужином говорилось об одном: где, как достать, чтобы это вожаделенное было похоже на пианино. Бабушка не разделяла маминой одержимости. Она считала, что в это лихолетье главное – не умереть с голода, а все остальное... как получится. Однажды, ближе к вечеру, когда мы уже собирались в «клубе», в арку нашего дома, громко цокая подковами по булыжной мостовой, въехала подвода и завернула прямо к нашему крыльцу. На подводе лежали, небрежно брошенные, какие-то доски. Мы обступили подводу, гадая, что это может быть. Наши сомнения развеяла Мама, незаметно появившаяся среди нас. Она была возбуждена, щеки её заливал яркий румянец, глаза горели, на лице блуждала счаст-

ливая улыбка. «Это пианино», – торжественно провозгласила она, как провозглашают царские вердикты на центральной площади. Наступила тишина. Все усиленно пытались разглядеть среди небрежно сваленных на подводе досок настоящее пианино.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.